

РОССИЯ: ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО, БИЗНЕС

*А.Н. ОЛЕЙНИК***Преемственность и изменчивость
превалирующей модели власти:
“эффект колеи”
в российской истории***

В статье сквозь призму российской историографии оценивается соотношение изменчивости и постоянства превалирующей в России модели власти. Рассматриваются основные концепты, с помощью которых она описывается: верховная власть, самовластие, самодержавие, патримониализм. Постулируется, что изменчивость касается лишь одного элемента модели власти – репертуара техник навязывания воли, в целом же историческая эволюция России иллюстрирует собой “эффект колеи”.

Ключевые слова: эффект колеи, власть, верховная власть, репертуар техник навязывания воли.

This paper explains path dependency in Russian history by focusing on the model of power prevailing in this country, namely on the stability of the core characteristics of this model, referred to as Supreme power, over time. Observed variability can be attributed to the context in which a particular historian assesses power (including his or her ‘doings’, to use Q. Skinner’s term) and to changes in the repertoire of techniques for imposing will.

Keywords: path dependence, power, supreme power, repertoire of techniques for imposing will.

Интерес к вопросам власти и ее влияния на исторический процесс характерен для российской историографии начиная с ее истоков. Важность этих вопросов признается представителями практически всех существующих в ней идеологических и теоретических течений. “Этатизм может рассматриваться как общий знаменатель русской социально-исторической и политической мысли, вне зависимости от ее деления на консервативное, либеральное, ленинское и социал-демократическое направления, на славянофильство и западничество” [Макаренко, 1998, с. 153] (см. также [Кривошеев, 2008, с. 10–11; Афанасьев, 2000, с. 29] и др.). Исключительный акцент на власти становится понятным, если учесть ее превращение в практически единственную движущую силу российской истории. “Власть должна писаться с большой буквы – Власть.

* Статья является существенно сокращенной, переработанной и адаптированной версией одной из глав монографии “Власть и рынок”, готовящейся к выходу в 2010 г. в издательстве РОССПЭН. Автор благодарен Н. Плискевич за ряд ценных замечаний.

Она ведущее действующее лицо исторического процесса” [Пивоваров, 2006^a, с. 144]. Выражаясь более практическим языком, данный тезис означает, что большая часть изменений в российской истории была инициирована “сверху”, с использованием власти в качестве основного рычага. Многочисленные попытки осуществить модернизацию – не исключение. Даже реформы, нацеленные на подрыв статуса власти как единственной движущей силы истории и на активизацию тех, кто в настоящий момент ее лишены, тем не менее осуществляются с использованием властного ресурса [Гаман-Голутвина, 2006, с. 315; Холмс, 1994, с. 31]. Сходный вывод можно сделать и в отношении других стран “догоняющей” модернизации, в которых негосударственные акторы слишком слабы для взятия на себя инициативы, что и отличает их от стран-“лидеров”, модернизация которых была осуществлена “снизу”, а не по указанию “сверху” [Oleinik, 2006; Gerschenkron, 1992].

Опора исключительно на власть означает, что она замещает другие механизмы координации, в первую очередь – доверие. В результате такого замещения в любых “горизонтальных” взаимодействиях появляется потребность в обращении к третьей стороне, а именно – к обладателю власти. Отсюда – тенденция к избыточному регулированию социальных, экономических и политических отношений: власть начинает повсеместно играть структурирующую роль: “Медиатор, решая задачу укрепления организации власти, одновременно разрушал источники творческой энергии масс” [Ахизер, 1997, с. 168] (см. также [Морозов, 1991, вып. 2, с. 108]).

Хотя исторических исследований места власти в российской истории проведено великое множество, до настоящего времени очень мало усилий прилагалось для их систематизации. Попробуем оценить соотношение изменчивости и постоянства русской власти, рассматривая ее сквозь призму дискурса российской историографии. Описывают ли историки в сходных терминах модель власти, сложившейся в Великом княжестве Московском, Российской империи и Советском Союзе?

Лексикон русской власти

К. Скиннер показывает, что “лексикон культуры”, под которым он подразумевает ряд ключевых категорий и концептов, задает область возможного в деяниях носителей этой культуры, то есть всех тех, кто способны правильно их понимать и интерпретировать [Skinner, 2002, vol. 1, ch. 9]¹. Лексикон, определяющий множество вариантов использования власти в российском институциональном контексте, включает в себя, как минимум, следующие понятия: *верховная власть*, *государство*, *самовластие* и *самодержавие*.

Независимость от любого иного органа делает *власть “верховой”*. Можно увидеть ряд параллелей между концептом верховной власти и понятием суверенитета, активно используемого в западном политическом и историческом дискурсе. Суверенное государство, “осуществляя правовой контроль над своей территорией, независимо от любой иной власти... никакой высшей законной власти, к которой можно было бы апеллировать для подтверждения своей легитимности или для принуждения к исполнению своих предписаний, просто нет” [Beetham, 1991, p. 122]. Однако эти два понятия далеко не тождественны. Неспособность к их различению приводит к многочисленным затруднениям как теоретического, так и практического характера (см. в качестве примера [Поляков, 2007]).

Российские историки и политические теоретики XIX в. рассматривают три формы существования верховной власти в зависимости от ее субъекта – монархию, аристократию и демократию [Ивановский, 1895, с. 18; Тихомиров, 2006, с. 29]. В России образца XIX в. верховная власть принимала форму монархии, в чем, по их мнению,

¹ Специалисты в области семиотики развивают схожую идею. К примеру Ю. Лотман [Lotman, 1990, ch. 7] рассматривает культуру как совокупность ключевых символов. Роль этих символов можно сравнить с генами, ибо они содержат в крайне сжатой форме информацию о прошлых, настоящих и будущих взаимодействиях.

не стоит видеть ничего исключительного. Однако, если на место монарха поставить народ, не меняя при этом других элементов верховной власти, то демократической системы все равно не получится. В лучшем случае возникает национал-популистский режим без системы сдержек и противовесов и представительства разных социальных групп, сродни тем, что существуют во многих странах Латинской Америки [Touraine, 1988].

Верховная власть, какую бы форму она ни принимала, исключает разделение властей. Различные органы власти образуют иерархический порядок, на верхней ступени которого располагается верховная власть. Разделение властей возможно лишь на низших этажах этой конструкции, тогда как индивиды или органы, наделенные верховной властью, обладают свободой действий во всех областях. Иными словами, популярное на Западе понятие “суверенитет” предполагает существование, как минимум, трех “высших властей” (законодательной, исполнительной и судебной), ни одна из которых не имеет верховенства в отношении других. В российском же контексте все три ветви власти субординированы верховной властью.

Разделение властей на нижних этажах иерархии не столько отражает желание иметь систему сдержек и противовесов, сколько является результатом предельно всеобъемлющего характера власти, которая регулирует отношения практически во всех областях. Чем более всеобъемлюща власть, тем ниже ее эффективность: при условии, что верховная власть не опирается на “наместников”, или представителей. “Всякая властная сила... может охватить своим влиянием лишь известные пределы” [Тихомиров, 2006, с. 47]. Аналогичное наблюдение можно сделать в отношении элементов народного самоуправления и участия на локальном уровне, которые не исчезают даже во времена крайнего укрепления верховной власти. Так, верховная власть в XIX в. “нуждалась в (земствах. – *А.О.*) и, так сказать, санкционировала (их. – *А.О.*), ввиду невозможности вполне заменить какую-либо собственную организацией” [Ивановский, 1895, с. 417].

Существование верховной власти сказывается на смысле, вкладываемом в другое ключевое понятие – *государство*. Возникновение современного государства на Западе обусловило разграничение трех компонентов – правителя, государства и общества. Государство в современном понимании представляет собой аппарат администрирования (исполнительную ветвь власти) и “средства принудительного контроля, которые необходимы для поддержания порядка в политическом сообществе” [Skinner, 2002, vol. 2, p. 377]. Общество определяют через приоритет, отдаваемый людьми своим общим интересам над частными, или, выражаясь языком французских политических философов, с помощью ссылки на *volonté générale* [Boltanski, Thévenot, 1991, p. 140–143]. Английский термин *commonwealth* имеет сходный смысл [Skinner, 2002, vol. 2, p. 385–386].

В до-модерный период три указанных элемента образуют неделимое целое. Т. Веблен, характеризуя германское государство в конце XIX в., подчеркивает именно этот аспект. Оно представляло собой “ни территорию, ни массу граждан и подданных, ни совокупное богатство или оборот торговли, ни гражданскую службу, ни правительство, ни корону, ни суверена, а в некотором смысле все эти элементы вместе взятые – в качестве органов государства. В некотором смысле государство обладает особой сущностью, с правами и обязанностями, значащими значительно больше тех, которыми обладают его подданные, и превосходящими эти последние. Причем не важно, рассматриваются ли права подданных по отдельности или же в совокупности, порознь или в усредненном, обобщенном виде” [Veblen, 1939, p. 161]².

В условиях существования верховной власти процесс дифференциации становится иерархическим. То, что правитель, государство и общество обладают особыми, не сводимыми друг к другу идентичностями, признается в российском историческом и политическом дискурсе уже с начала XVIII в. [Kharkhordin, 2001, p. 225; Pipes, 1974,

² Существует ряд параллелей в историческом развитии России и германских государств в XVIII–XX вв. [Цвайнерт, 2008; Raeff, 1983].

р. 68–69]. Однако процесс дифференциации вместо трех суверенных властей привел к возникновению иерархии с носителем верховной власти на ее вершине, с подчинением ему государства и общества под управлением государства. Субординация государства верховной власти обуславливает ряд трудностей с переводом слова “государство” с русского на английский. Р. Пайпс в этой связи замечает, что “хотя мы обычно переводим государство словом *state*, более точным вариантом было бы поместье или владение (*domain*)” [Pipes, 1974, р. 78], то есть сфера под контролем главы домохозяйства.

Советская система представляет собой пример того, как на практике взаимодействовали верховная власть и государство. Коммунистическая партия, точнее – ЦК КПСС, будучи воплощением верховной власти, плотно контролировала правительственные структуры, в том числе исполнительные комитеты Советов различных уровней. В такой ситуации “от правительства мало что зависит... Партия записывает на свой счет успехи, тогда как правительство отвечает за все неудачи” [Inside... 1990, р. 50] (см. также [Malia, 1999, р. 300]).

Субординация общества государству обуславливает постоянные тенденции к становлению полицейского режима, при котором государство вовлечено в регулирование и “направление” повседневной жизни обычных людей. Полицейское государство не обязательно предполагает исключительно негативные ассоциации – на него может быть возложена и цивилизующая миссия: “Почти вплоть до начала революции 1789 г. европейцы увязывали появление цивилизованных условий с действиями государства, а не со спонтанными общественными процессами. В этом контексте полицейское государство (*état policé*) и цивилизованное государство (*état civilisé*) практически были синонимами” [Malia, 1999, р. 28]. Революция 1789 г. во Франции показала, что общества на Западе готовы к автономному существованию. В свою очередь, российский дискурс по-прежнему исходит из того, что для своего же блага общество нуждается в руководящей и направляющей руке государства. Российская интерпретация полицейского государства подразумевает “принудительную деятельность, направленную к благосостоянию государства и народа и выполняемую при помощи исключительно правительственных сил” [Ивановский, 1895, с. 57].

Эта идея жива и по сей день: согласно данным репрезентативного опроса ($N = 1600$), проведенного в июле 2008 г., население однозначно ее поддерживает. 81% респондентов (74% – в июле 2007 г., 72% – в апреле 1997 г.) согласны с утверждением, что “большинство не сможет прожить без опеки государства” [Общественное... 2008, с. 27]. Опросы общественного мнения также показывают, что слова “государство” и “государственные служащие” вызывают преимущественно позитивные эмоции, так как россияне связывают с ними общественные интересы в противоположность частным [Петухов, 2006, с. 9–10; Бызов, 2006, с. 25].

Верховная власть: попытки различить деспотизм и монархию

Анализируя феномен верховной власти, российские историки и теоретики политики выделяют несколько характеристик. Во-первых, верховная власть исключает какие-либо отсылки к высшим принципам или инстанциям. Она не нуждается в обосновании через обращение к чему-то внешнему по отношению к ней, представляя собой “власть ничем не созданную, ни от чего, кроме самой себя, не зависящую, ничем, кроме самой себя, не обусловленную” [Тихомиров, 2006, с. 89]. Во-вторых, индивид или орган, наделенный верховной властью, обладает полной свободой действий по ее реализации. Ничто не препятствует превращению власти в ресурс для приобретения больших прерогатив, вместо ее использования в качестве средства для достижения общественно полезных целей. Правитель “действует произвольно, в угоду своим личным прихотям или интересам, игнорируя при этом интересы и благо народа” [Ивановский, 1895, с. 65].

В-третьих, отсутствие ограничений также открывает широкие возможности для использования насильственных техник навязывания воли. При прочих равных условиях субъект верховной власти предпочитает наиболее короткие и простые пути получе-

ния желаемого от подчиненных. К числу основных характеристик верховной власти, следовательно, необходимо добавить насилие [Пивоваров, 2006^a, с. 7]. В-четвертых, верховная власть позволяет обладающим ею лицам пользоваться правами без одновременного приобретения обязанностей по отношению к своим подданным [Хлопин, 1997, с. 67–68; Морозов, 1991, вып. 2, с. 113]. Они принимают все ключевые решения и от них исходят все инициативы: “Никто, кроме государя, не мог ни судить, ни жаловать: всякая власть была изливанием монаршей” [Карамзин, 1991, с. 24]. Верховная власть не мирится ни с какими альтернативными и не зависимыми от нее источниками власти. Отсюда логично следует использование принципа единоначалия на всех уровнях иерархии, вплоть до предприятия или университета [Gregory, 1990, p. 57].

В-пятых, верховная власть не нуждается в обратных связях с объектом воздействия ибо все инициативы исходят с самого верха. Те обратные связи, которые все же присутствуют, выполняют весьма специфическую функцию: вместо того, чтобы информировать носителя верховной власти о нуждах и интересах простых людей, они помогают ему контролировать своих представителей и “наместников”, то есть государственный аппарат. Именно по этой причине, например, Иван Грозный призывал простолюдинов еще в XV в. подавать индивидуальные петиции и жалобы на любые своекорыстные действия своих представителей из только формировавшегося государственного аппарата. В 1550 г. он даже создал с этой целью особый челобитный приказ [Лившин, Орлов, 2002, с. 100; Тихомиров, 2006, с. 245–249; Бессонова, 2006, с. 12].

Эволюция верховной власти, начиная с ее возникновения в XII в., осмысливалась российскими историками в основном в терминах *самодержавия* и *самовластия*. Что касается западного историографического дискурса о верховной власти, то в нем центральное место занимает концепт патримониальной власти. Пять характеристик верховной власти находят свое отражение во всех трех концептах, однако акценты при этом ставятся разные. Различия между альтернативными концептами и дебаты между сторонниками каждого из них представляются крайне значимыми с позиций постоянства и изменчивости преобладающей модели властных отношений.

И самовластие, и самодержавие означают высокоцентрализованную, автономную и самодостаточную систему власти. Однако в случае самодержавия существует высший принцип, который предположительно направляет действия тех, кто наделены верховной властью. Религия – православие – ограничивает свободу действий правителя. При самодержавии “истинная воля Монарха подчинена Богу, притом очень ясно” [Тихомиров, 2006, с. 87]. Роль правителя сводится к трансляции Божьей воли, что превращает его в наместника Божьего на русской земле.

Использование термина “монарх” в названии верховного правителя в приведенной выше цитате требует пояснения. Для Н. Карамзина, равно как и для ряда других российских историков, включая Л. Тихомирова, только самодержавие – истинная монархия [Pipes, 2005, p. 61]. Монархия же ложная не подразумевает никаких ограничений воли правителя, что создает предпосылки для ее превращения в деспотизм. “Монархия деспотическая, или самовластие, отличается от истинной Монархии тем, что в ней воля Монарха не имеет объективного руководства” [Тихомиров, 2006, с. 87].

Возвращаясь к пяти характеристикам верховной власти, можно сказать, что ключевое различие между самовластием и самодержавием касается первого из них, а именно наличия или отсутствия высшего принципа. Высший принцип принимает форму религиозной веры или закона, как при конституционной монархии. В последнем случае можно провести ряд параллелей между самодержавием и западными монархиями, которые служат обоснованием перевода этого русского термина на английский как *monarchy*. “Главной отличительной особенностью монархий является соблюдение принципа верховенства закона и обеспечение на этой основе сотрудничества между короной и зависимыми от нее сословиями, прежде всего дворянством. В варианте деспотизма (или тирании) воля монарха замещает закон, что создает предпосылки для систематического нарушения правительством прав сословий, сопровождающего его попытки охватить администрированием всю страну” [Pipes, 2005, p. 60–61].

При этом общими и для самодержавия, и для самовластия остаются четыре другие характеристики. Этот факт не позволяет рассматривать даже самодержавие в качестве примера ограниченной власти. Он также лежит в основе множества спорных моментов в дискурсе о верховной власти. С чисто юридической точки зрения, «самодержавие... в старом русском законодательстве... отождествлялось со словом “неограниченность”» [Грибовский, 1912, с. 24]. Ряд исследователей соглашались с этим утверждением (см., например, [Пивоваров, 2006^a, с. 7]). Однако другие выражают однозначное несогласие и делают акцент на том, что самодержавие накладывает целый ряд ограничений на деяния наделенных верховной властью лиц: «“Самодержавный” не может быть “неограниченный”, равно как “неограниченный” не является “самодержавным”. Петр I не был самодержавным царем, а именно неограниченным властелином, не знавшим ни Бога, ни русских народных традиций» [Большаков, Ермачков, 1999, с. 77].

В западном дискурсе о верховной власти тоже уделяется значительное внимание противопоставлению деспотизма и монархии. Однако при этом первый термин используется значительно чаще. Данная тенденция приобретает явные формы с ростом популярности концепта патримониальной власти как особой формы деспотизма. Его применение к российскому случаю обосновывается в разделе, посвященном царскому патримониализму, труда “Экономика и общество” М. Вебера [Weber, 1968] и особенно в монографии “Россия при старом режиме” Р. Пайпса [Pipes, 1974]. Распространение в постсоветских социальных науках западных теорий привело к тому, что ряд российских ученых начали использовать концепт патримониализма [Пивоваров, 2004; Fisun, 2003]. При патримониальных режимах “отсутствуют или оказываются лишены какого-либо практического смысла границы между суверенной властью и собственностью... их отсутствие можно считать главной специфической чертой незападного типа правительств по сравнению с западным” [Pipes, 1974, p. xxi]. С этой точки зрения четко установленные и хорошо защищенные права собственности видятся новым ограничением на действия правителя, наряду с религиозной верой и законом (строго говоря, законы о собственности – вообще особая область законодательства). При их отсутствии правитель полностью волен как наделять своих подданных собственностью (например, в качестве награды за службу), так и отбирать ее обратно. “В эпоху абсолютизма в России, в отличие от большинства западноевропейских стран, не оказалось частной собственности, способной послужить преградой монаршей власти” [Пайпс, 2001, с. 235–236].

Устойчивый консенсус относительно выбора наиболее адекватного термина для описания верховной власти по-прежнему отсутствует, что требует уточнения исходных вопросов исследования. Верховная власть характеризуется в российской историографии либо как монархия (самодержавие), либо как деспотизм (самовластие). Следует ли из этого, что от тезиса о постоянстве превалирующей модели власти лучше отказаться? Не обязательно, ибо различные концепты зачастую используются при обсуждении одного и того же исторического периода (одни историки более подходящим находят “самодержавие”, другие – “самовластие”, а третьи – патримониальную власть). Тогда какие факторы могли бы объяснить различия в предпочтениях?

Первое возможное объяснение предпочтения одного концепта другому кроется в специфике намерений ученого. Историки преследуют различные цели, что сказывается на используемом ими языке, ведь по мнению Скиннера выбор в пользу того или иного концепта равносителен принятию определенной программы действий. При неизменном характере верховной власти автор может занять либо критическую, либо симпатизирующую позицию. Последний случай требует усилий по доказательству соответствия верховной власти неким высшим принципам, которые облегчаются благодаря использованию концепта монархии. Сама природа верховной власти обуславливает потребность в попытках легитимации: “люди имеют особо сильные стимулы к оправданию любых действий, которые вызывают вопросы” [Skinner, 2002, vol. 1, p. 155]. В то же время критическая позиция представляет собой реакцию на попытки оправдания, столь же естественную по своей природе, если учесть спорную и проти-

воречивую природу обсуждаемого феномена. Иначе говоря, дискурс о верховной власти неизбежно порождает споры и противоречия.

Другим объяснением может быть то, что постоянство верховной власти во времени не исключает некоторую изменчивость форм, принимаемых ее отдельными элементами. Возможная комбинация преемственности и изменчивости требует привлечения дополнительных теоретических аргументов.

“Эффект колеи” и репертуар техник навязывания воли

Мысль о том, что прошлое оказывает существенное воздействие на настоящее, вряд ли покажется историку оригинальной. К примеру, Скиннер резко критикует мнение, согласно которому историкам “следует особо заботиться о том, чтобы **не** выбирать темы своих исследований по критерию наличия к ним современного интереса, или (что еще непростительнее) по причине их современной значимости и важности” [Skinner, 2002, vol. 1, p. 20]. Подход к осмыслению связей между прошлым и настоящим, изначально сформулированный Д. Нортон, в этой связи кажется особенно уместным, ибо с его помощью подчеркивается обязательная преемственность в институциональной эволюции страны на протяжении всей ее истории. Набор вариантов, из которых приходится выбирать, постепенно сужается под воздействием предшествующих решений и событий. «Последствия малых событий и случайных обстоятельств могут лечь в основу решений, которые, становясь превалирующими, и определяют господствующую тенденцию в развитии, или “колею”» [North, 1990, p. 94] (см. также [Hedlund, 2005; Асланов, 2009, с. 82–83]).

Ряд российских историков и представителей других социальных наук рассматривают эволюцию российской истории в контексте движения по колее, даже если явно не цитируют Нортона. С. Кирдина, к примеру, анализирует “институциональную матрицу”, структурирующую политические, экономические и социальные взаимодействия в России на протяжении всей ее истории, как “устойчивую, исторически сложившуюся систему базовых институтов” [Кирдина, 2001, с. 59]. Матрица включает в себя элемент, отражающий преемственность в политической сфере (иерархическую систему управления). С точки зрения этой теории, политические, экономические и идеологические компоненты матрицы одинаково важны. Однако, согласно развиваемому здесь подходу, ключевым элементом следовало бы признать модель власти как оказывающую влияние на все остальные компоненты матрицы³.

О. Бессонова также развивает подход к анализу российской истории в терминах цивилизационных матриц. Согласно ее определению, матрица – “латентная система информационных кодов, соответствующих определенным свойствам и признакам реальности, комбинация которых формирует определенную программу развития” [Бессонова, 2006, с. 111]. Иными словами, эволюция происходит согласно заложенной в цивилизационной матрице программы развития.

С точки зрения А. Ахиезера, история России до 1991 г. представляет собой последовательность двух долгосрочных циклов: первый покрывает период от Киевской Руси до революции октября 1917 г., а второй – от момента этой революции до развала Советского Союза в 1991 г. Оба цикла имеют сходную структуру. “Цикл включает три состояния, т.е. исходный полюс, например, соборный идеал, противоположный полюс, например, авторитарный идеал, и вновь исходный полюс, но уже обогащенный прохождением через прямую и обратную инверсии” [Ахиезер, 1997, с. 348]. В отличие от диалектического отношения между тезисом, антитезисом и синтезом циклическое движение между двумя противоположными полюсами не является в российском

³ Присутствие “эффекта колеи” в эволюции российских экономических институтов признается в целом ряде исследований. Например, Ж. Сапир обращает внимание на преемственность в практике планирования между Российской империей в период Первой мировой войны (имея в виду военно-промышленные комитеты) и Советским Союзом [Sapir, 1990, p. 24]. А В. Ефимов указывает на “эффект колеи” в эволюции аграрных институтов имперской, советской и постсоветской России [Yefimov, 2003].

случае источником развития. Система управления и, следовательно, институциональная система в целом, оказывается “запертой” в особой, цикличной, траектории движения: “Не исключена возможность того, что и третий глобальный период (начавшийся после крушения советской власти в 1991 г. – *А.О.*) не приведет страну к либеральной цивилизации”, – подводит итог своему анализу Ахиезер [Ахиезер, 1997, с. 733].

Ю. Пивоваров и О. Гаман-Голутвина говорят более подробно об “эффекте колеи” в исторической эволюции российских политических институтов. Первый подчеркивает преемственность принципов, согласно которым действуют органы, воплощающие верховную власть [Пивоваров, 2006⁶, с. 21], а вторая соглашается с тезисом о том, что политические системы Великого княжества Московского, Российской империи и Советского Союза образуют своеобразный континуум, для которых характерны такие черты, как политико-центричность, всеобщность обязанностей граждан перед государством и производность социальной стратификации от обязанностей [Гаман-Голутвина, 2006, с. 227].

Среди других российских авторов стоит отметить Р. Нуреева и Ю. Латова, которые видят специфику истории экономического развития России в ее неизменной “укорененности” в азиатском способе производства. По их мнению, “колея” российского развития разошлась с “колеями” европейского развития в период раннего Средневековья [Нуреев, Латов, 2010].

Мысль о присутствии “эффекта колеи” в российской истории не чужда и западным ученым. Так, Р. Хилли отмечает особую роль чиновничества на протяжении всей российской истории [Helle, 2005]. Он, в частности, обсуждает в ней три периода – три революции служилого класса, которые выделяются по критерию изменений в техниках обеспечения верховной властью лояльности своих заместителей и представителей. По его мнению, власть превратилась в отмычку для решения всех проблем в России, вытеснив все остальные варианты, чем, собственно, и проявляется “эффект колеи”.

Основная цель К. Рьявца также заключается в показе неизменности принципов функционирования российского государства, этого среднего элемента триады правитель/государство/общество. Однако он концентрируется на более коротком периоде времени – от поздней Российской империи до настоящего времени. “Устойчивые образцы мышления и действий российской администрации... наблюдаются на протяжении более чем векового периода и при трех и даже больше различных (политических. – *А.О.*) режимах” [Ryavec, 2003, p. 1].

С. Хедлунд сосредоточивает внимание на другом проявлении “эффекта колеи”: на “затянувшемся несоблюдении принципа верховенства закона” [Hedlund, 2005, p. 25]. Неспособность ограничить свободу действий правителя правовыми рамками, характерная для верховной власти, отличала и старый московский порядок, и советскую систему. Примечательно, что некоторые исследователи включают в континуум и постсоветский период, тогда как другие предпочитают этого не делать.

Единогласно мнения относительно объяснения “эффекта колеи” в научной литературе нет. Некоторые связывают его с эффектом больших чисел, точнее – с понятием эволюционно-стабильной стратегии, заимствованным из эволюционной теории игр [Smith, 2002]. Чем больше людей используют для координации своих действий тот или иной институт, тем больше стимулов поступить также у тех, кто пока еще не определился. Сходный по своей идее подход заключается в проведении параллелей между эволюцией институтов и эффектом “замыкания” (*lock-in*) при выборе между альтернативными технологиями [Arthur, 1988]. После превышения числа пользователей определенной технологии некоего предела все новые продукты будут выпускаться совместимыми с ней, а не с конкурирующими аналогами.

Из множества теорий, объясняющих “эффект колеи”, в контексте данного исследования наиболее интересной представляется теория идеологии и ментальных моделей. Согласно ей, изменения институтов затруднены по причине их укорененности в идеологии как особом мировоззрении, а значит – в определенной совокупности концептов и категорий. “Сегодняшняя обстановка формирует институты завтрашнего дня

вследствие процесса принудительного отбора, действуя на привычные взгляды людей на вещи и таким образом изменяя или укрепляя точку зрения или духовную позицию, унаследованную от прошлого” [Веблен, 1984, с. 202] (см. также [Зиновьев, 1994, с. 257]).

Возвращаясь к концептам и категориям, описывающим превалирующую в России модель власти, важно отметить, что их укорененность в прошлом ограничивает “круг вещей, которые говорящий может достичь своими деяниями” в настоящем, и следовательно, способствует продолжению воспроизводства этой модели. Эволюция идеологии происходит по своим собственным законам, исключая возможность резких изменений. В частности, эти законы предполагают, что любой новый опыт интерпретируется в категориях, выработанных на основе прошлого опыта. Изменения в категориях и концептах просто не успевают за появлением новых событий, осмыслению которых они призваны помочь [Denzau, North, 1994]. В результате “субъективные модели акторов, которые корректируются весьма несовершенным образом и обусловлены идеологией, задают траекторию движения по колее” [North, 1990, p. 95] (см. также [Зиновьев, 1994, с. 41–42]).

Теория “эффекта колеи” объясняет преемственность верховной власти ссылкой на продолжающееся воспроизводство ментальной модели, лежащей в ее основе. Такой теоретический подход, однако, недостаточен для учета возможной изменчивости в модели верховной власти, на существование которой указывает отмеченная ранее динамика предпочтений в выборе терминов для ее описания то в пользу самодержавия, то в пользу самовластия. Следовательно, для усложнения модели за счет учета колебаний вокруг общего тренда (колеи) требуются дополнительные теоретические усилия.

Все ли пять элементов верховной власти одинаково неизменны во времени? Иначе говоря, изменчивость какого (каких) элемента (элементов) не противоречила бы тезису о постоянстве статуса и функций верховной власти в российской институциональной системе? Хотя, как было показано ранее, верховная власть не имеет встроенных ограничений, ее реализация наталкивается на ряд объективных препятствий. Например, ее всеобъемлющий характер обуславливает потребность в возникновении государства как обладающего определенной автономией, но подчиненного органа. Набор техник навязывания воли, доступных в данный период времени, также ограничивает свободу действий правителя: “Цели властвующих лиц и институтов ограничены средствами, находящимися в их распоряжении” [Макаренко, 1998, с. 63]. Этот набор зависит от этапа институциональной эволюции и наличия конкретных институтов и организаций, таких как тюрьма, СМИ или рынок. Появление новой техники раздвигает для правителя рамки возможного. Пивоваров сводит “революции” в российском контексте к значительным дополнениям к репертуару техник навязывания воли [Пивоваров, 2006^a, с. 171; 2006^b, с. 55]. Однако до тех пор, пока такие техники остаются насильственными⁴, их изменчивость не сказывается на преемственности верховной власти в целом.

Понятие репертуара помогает осмыслить изменчивость насильственных техник навязывания воли. Изначально оно было предложено Ч. Тилли в конце 1970-х гг. в контексте изучения коллективных действий [Tilly, 1995, p. 26]. Так как власть и доверие представляют собой альтернативные способы координации и, следовательно, коллективных действий, та же самая идея применима и в отношении властных отношений. Тогда репертуар техник навязывания воли означает ограниченный набор альтернативных способов обеспечения подчинения как необходимого условия использования власти для координации действий.

Известны две интерпретации концепта репертуара: исключительно практическая и дискурсивная. “Подобно своим аналогам, которые представляют собой шаблоны для

⁴ Насилие здесь понимается как мощь, сокращающая другую мощь, что согласуется с мыслью Х. Арендт о том, что насилие “близко по своей сути к мощи” [Arendt, 1969, p. 46].

практических действий, дискурсивные репертуары обеспечивают людей словарем, который является подспорьем в обосновании различных деяний” [Traugott, 1995, p. 7]. Размышляя по аналогии, можно предположить, что дискурсивный репертуар техник навязывания воли наделяет правителя словарем для обоснования своих поступков и тем самым способствует их принятию государственными служащими и обычными людьми, то есть подданными.

Список насильственных техник включает в себя силу как ограничение физической свободы, принуждение как использование угроз применения силы в случае неподчинения, манипуляцию как сознательное искажение информации, доступной подчиненному, господство как результат сочетания интересов на рынке [Weber, 1968, p. 943–946] и господство, проистекающее из структурных перекосов институциональной системы [Lukes, 2005]. Две техники, названные последними, имеют общую черту: они предполагают сознательное искажение правителем совокупности альтернативных вариантов выбора подчиненного. Например, доминирование монополиста на рынке сводится к установлению цен выше конкурентного уровня и сокращению предложения. При этом монополист не прибегает к использованию силы для обеспечения подчинения, которое, наоборот, становится своеобразным итогом попыток объекта доминирования осуществить рациональный выбор.

Делая предварительные выводы, можно сказать, что непрерывное воспроизводство превалирующей модели властных отношений обуславливает “эффект колес” в исторической эволюции России. Эта преемственность не исключает некоторой изменчивости, прежде всего в репертуаре техник навязывания воли, при условии, что изменения не затрагивают насильственной природы этих техник.

Является ли верховная власть результатом неблагоприятных внешних условий?

Теория “эффекта колес” позволяет предположить, что любое событие, каким бы незначительным и случайным оно ни было, может положить начало тенденции, или колее, способной задавать траекторию эволюции институциональной системы на протяжении длительного времени. Какие же события могли привести к зарождению специфической модели властных отношений, воплощением которой является верховная власть? Популярное в российской историографии объяснение сводится к ссылке на неблагоприятный характер внешней среды, как природной, так и геополитической, в условиях которой возникло и развивалось российское государство. С одной стороны, климат и характеристики почвы в этой части Евразии не благоприятствуют земледелию, ставя урожай в зависимость от погоды. Дефицит природных ресурсов (нефть и газ стали цениться относительно недавно) был типичен на ранних этапах российской истории. С другой стороны, войны, сотрясавшие все государства Европы [Tilly, 1985], в российском случае принимали особо жестокий, затяжной и разрушительный характер. Чтобы выжить в таких неблагоприятных и враждебных условиях, людям требовалась максимальная концентрация усилий. Согласно популярному аргументу, рассчитывать на спонтанную мобилизацию в такой ситуации смерти подобно, отсюда потребность в постоянной мобилизации с помощью власти.

Западные ученые тоже не упускают из внимания фактор внешней среды. Например, Пайпс после сравнения плодородия почв в северной части России и Северной Европе приходит к выводу, что власть и иерархия представляют собой необходимую предпосылку для аккумуляции ресурсов сверх уровня, обеспечивающего простое выживание в первом, но не во втором случае [Pipes, 1974, p. 249]. В свою очередь, Р. Хилли увязывает становление “служилого класса” (состоящего из наместников и представителей верховной власти) с непрерывными войнами русских государств с соседями [Hellie, 2005, p. 88].

Подобные аргументы лежат в основе следующей гипотезы (H_1): параметры внешней среды обуславливают особенности превалирующей в России модели власти. Го-

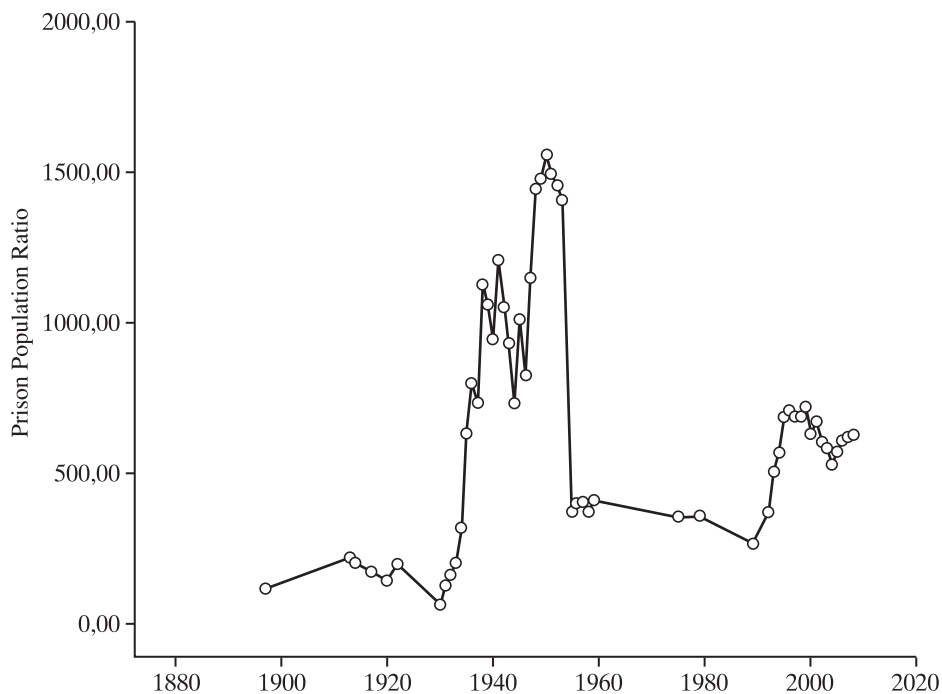


Рис. Динамика соотношения числа заключенных (PPR) к совокупному населению Советского Союза в XX в.

Источники: [Госкомстат... 2003; Общество... 1998].

воря более техническим языком, внешняя среда – независимая переменная, тогда как модель власти – зависимая. В таком случае верховная власть находит себе оправдание не в законе или религиозной вере, а в неблагоприятных внешних условиях. Если данная гипотеза подтверждается, то верховная власть способствует развитию при данных условиях “человеческой способности не просто действовать, а действовать совместно” [Arendt, 1969, p. 44].

Альтернативной (нулевой, H_0) гипотезой тогда было бы предположение о том, что связь между внешними условиями и верховной властью отсутствует. Несмотря на свою популярность, гипотеза H_1 никогда не подвергалась статистической проверке с использованием данных, собранных историками. Такая проверка позволила бы существенно улучшить наше понимание “эффекта колеи” за счет сопоставления вклада внешних факторов и факторов, находящихся под контролем триады правитель/государство/общество.

Гипотеза H_1 содержит указание на причинно-следственную связь, для установления которой требуется выполнение трех условий: причина предшествует следствию; две переменных статистически связаны; наблюдаемая связь не может быть списана на некую третью переменную [Babbie, Benaquisto, 2002, p. 65]. При невыполнении, как минимум, одного из этих условий исходную гипотезу следует отбросить. Эмпирический тест, состоящий из нескольких компонентов, позволяет проверить выполнение второго условия. На первом этапе для статистического теста были использованы данные из наиболее всеобъемлющей хронологии российской истории [Россия, 2002]. Особое внимание уделялось войнам, прежде всего оборонительным, начатым не Россией, а другими странами: их можно считать индикатором переменной “неблагоприятная внешняя среда”. Хронология войн была затем сравнена с хронологией политических режимов, отнесенных к двум группам – деспотических и недеспоти-

**Статистика групп для средней продолжительности войн в периоды
деспотических и недеспотических режимов в российской истории**

	Политический режим	<i>N</i>	Средняя продолжительность (лет)	Стандартное отклонение	Стандартная ошибка средней
Оборонительная война	Деспотический	47	1,34	1,449	0,211
	Недеспотический	66	1,14	1,691	0,208
Агрессивная война, инициированная Россией	Деспотический	46	1,89	2,387	0,352
	Недеспотический	66	1,27	1,802	0,222

ческих, согласно классификации периодов российской истории Ахиезера [Ахиезер, 1997, с. 799].

Анализ выборки из 113 десятилетий, начиная с восьмидесятых годов VIII в. и заканчивая последней декадой XX в., не позволяет говорить о статистически значимом различии в средней продолжительности войн во времена “деспотических” десятилетий по сравнению с “недеспотическими” (то есть с элементами коммунитаризма или “соборности”, выражаясь словами Ахиезера). Инициированные окружавшими Россию странами войны в среднем продолжались 1,34 года в “деспотические” десятилетия, что лишь незначительно превышает аналогичный показатель для “недеспотических” десятилетий (1,14); *t*-тест для проверки равенства средних показывает, что указанное различие между средними не достигает уровня статистической значимости (см. табл.)⁵. Допущение о гомогенности или однородности дисперсии было проверено с помощью теста Левена, $F = 0,465$, $p = 0,497$, что указывает на отсутствие существенных оснований для отказа от него. В соответствии с этим был применен *t*-тест в его версии для объединенной дисперсии. Средняя продолжительность оборонительных войн в рассматриваемые периоды отличается не значимо, $t(111) = 0,67$, $p = 0,504$ для двухстороннего теста. Стоит отметить, что агрессивные войны, развязанные самой Россией (которых тоже в истории было предостаточно), случались чаще в “деспотические” десятилетия, однако с вероятностью, лишь приближающейся к уровню статистической значимости. Итоги проведенной проверки не подтверждают гипотезу H_1 .

На втором этапе были использованы данные о верховной власти из иных источников, а также другой индикатор интенсивности порождаемого ею насилия. Это помогает увеличить надежность результатов проверки исходной гипотезы. В данном случае проверялось утверждение, что в “деспотические” годы (теперь в качестве единицы анализа использовался год, а не десятилетие) насильственный характер техник навязывания воли (таких, как применение силы) принимает особенно явные формы. В качестве индикатора интенсивности насилия использовалось отношение численности находящихся в местах лишения свободы людей к общему населению, или *PPR* (*prison population ratio*). Наличные данные позволяют судить об относительной численности заключенных только в XX в., то есть на протяжении второго глобального цикла российской истории по Ахиезеру. В этой связи следует учесть два соображения. Во-первых, в России, как и в большинстве стран Запада [Foucault, 1975], сила как техника навязывания воли нашла свое воплощение в институте тюрьмы относительно недав-

⁵Тест был произведен, исходя из допущения, что выборка имеет случайный характер. Однако, строго говоря, пропуски и ошибки выборки не случайны, а обусловлены методами сбора первичной исторической информации и ее кодирования. Поэтому к полученным результатам следует относиться с известной осторожностью, даже если учесть, что аналогичное допущение делается в большинстве сходных случаев.

но – начиная с XIX в. Тюрьме предшествовало использование силы в таких формах, как казнь, телесные наказания и пытки. Во-вторых, данные о заключенных в России XIX в. отрывочны и несистематичны (к примеру, в отношении отдельных регионов Российской империи они просто отсутствуют). Самые ранние данные датируются двадцатыми годами XIX в., но в них не включены два столичных города [Гернет, 1941, с. 229].

Результаты *t*-теста показывают, что в “деспотические” годы относительная численность заключенных выше, чем в “недеспотические”. Эта тенденция принимает особо отчетливые формы в 1930–1940-е гг. (см. рис.). Среднее значение индекса относительной численности заключенных – *PPR* – для “деспотических” годов составляет 749,63 (заключенных, приходящихся на 100 тыс. населения), тогда как для “недеспотических” лет оно равняется 474,62. Допущение о гомогенности или однородности дисперсии было проверено с помощью теста Левена, $F = 3,593$, $p = 0,063$, что указывает на наличие оснований для отказа от него. Поэтому была применена версия *t*-теста, не предполагающая объединения дисперсии. Среднее значение *PPR* в рассматриваемые периоды отличается значимо, $t(45,7) = 2,77$, $p = 0,008$ для двухстороннего теста (с учетом той же оговорки, что и в предыдущем случае).

При этом *t*-тест не показывает статистически значимых различий между средними значениями *PPR* в годы оборонительных войн по сравнению с теми годами, когда их не было. Среднее значение *PPR* в годы вовлеченности России (Советского Союза) в оборонительные войны равняется 666,87, что весьма близко к среднему значению для мирных лет (627,02). Иными словами, распространение насильственных техник навязывания воли действительно может быть связано с “деспотическим” политическим режимом, однако гипотеза об их обусловленности неблагоприятными внешними условиями не находит подтверждения.

Вышеприведенные результаты серии статистических тестов указывают на то, что особенности верховной власти скорее всего обусловлены некими факторами внутри страны, зависящими от человеческой воли. Их не стоит списывать на неблагоприятные внешние условия. Во времена оборонительных войн верховная власть отнюдь не приближалась к своему идеальному типу. Наоборот, интенсивность ее основных характеристик ослабевала, что отдаляло превалирующую модель от идеального типа. Эти результаты служат косвенным подтверждением тезиса о роли дискурса в воспроизводстве власти. Согласно ему, “эффект колеи” в эволюции верховной власти тесно связан с неизменностью ключевых параметров дискурса о ней, тогда как ее изменчивость может быть списана либо на позицию конкретного автора, либо на изменения в репертуаре техник навязывания воли.

* * *

Предложенный анализ российской историографии в период с XIX в. и по настоящее время показывает значительную преемственность дискурса о власти. Вариации вокруг главного тренда оказываются менее существенными, чем можно было бы ожидать. Они касаются главным образом постоянных колебаний между двумя концептами – самовластием и самодержавием, которые описывают тот же самый феномен верховной власти. Различия в акцентах обусловлены контекстом, в котором дается оценка историческим событиям, и возможными изменениями в репертуаре техник навязывания воли. Только этот элемент верховной власти подвержен переменам на протяжении российской истории. Что же касается контекста, то под ним понимаются ценности и идеологические убеждения историков, их “деяния” (то, как они позиционируют себя в отношении наделенных верховной властью людей), другие оценки власти в тот же исторический период (то, какие суждения критикуются историками и с какими из них они соглашаются) и, наконец, факт их расположения внутри российской институциональной системы или вне ее.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Асланов Л.А.* Менталитет и власть: русская цивилизация. М., 2009.
- Афанасьев М.Н.* Клиентелизм и российская государственность. М., 2000.
- Ахизер А.С.* Россия: критика исторического опыта. Т. 1. Новосибирск, 1997.
- Бессонова О.Э.* Раздаточная экономика России: эволюция через трансформации. Новосибирск, 2006. Т. 1.
- Большаков В.И., Ермачков Е.И.* Русская соборность, общинность и державность: историко-социологический анализ. М., 1999.
- Бызов Л.Г.* Бюрократия при В. Путине – субъект развития или его тормоз? // Социологические исследования. 2006. № 3.
- Веблен Т.* Теория праздного класса. М., 1984.
- Гаман-Голутвина О.В.* Политические элиты России. Вехи исторической эволюции. М., 2006.
- Гернет М.Н.* История царской тюрьмы. Т. 1. М., 1941.
- Госкомстат России. Преступность и правопорядок в России: статистический аспект. М., 2003.
- Грибовский В.М.* Государственное устройство и управление Российской империи (из лекций по государственному и административному праву). Одесса, 1912.
- Зиновьев А.* Коммунизм как реальность. М., 1994.
- Ивановский В.В.* Государственное право. Т. 1. Казань, 1895.
- Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении. М., 1991.
- Кирдина С.Г.* Институциональные матрицы и развитие России. Новосибирск, 2001.
- Кривошеев Ю. В.* Русская средневековая государственность. СПб., 2008.
- Лившин А., Орлов И.* Власть и общество: диалог в письмах. М., 2002.
- Макаренко В.П.* Русская власть: теоретико-социологические проблемы. Ростов-на-Дону, 1998.
- Морозов Ю. А.* Пути Росии. Модернизация неевропейских культур. М., 1991. Вып. 1–4.
- Нуреев Р.М., Латов Ю.В.* Россия и Европа: эффект колес (опыт институционального анализа истории экономического развития). Калининград, 2010.
- Общественное мнение – 2008. Ежегодник. М., 2008.
- Общество “Мемориал”. Система исправительно-трудовых лагерей в СССР: 1923–1960. Справочник. М., 1998.
- Пайтс Р.* Собственность и свобода. М., 2001.
- Петухов В.В.* Бюрократия и власть // Социологические исследования. 2006. № 3.
- Пивоваров Ю.С.* Полная гибель всерьез. М., 2004.
- Пивоваров Ю.С.* Русская политика в ее историческом и культурном отношении. М., 2006^б.
- Пивоваров Ю.С.* Русская политическая традиция и современность. М., 2006^а.
- Поляков Л.В.* “Суверенная демократия”: политический факт как теоретическая предметность // Общественные науки и современность. 2007. № 2.
- Россия: хроника основных событий. IX–XX века. М., 2002.
- Тихомиров Л.А.* Монархическая государственность. М., 2006.
- Хлопин А.Д.* Становление гражданского общества в России: институциональная перспектива // Pro et Contra. 1997. № 4.
- Холмс Л.* Социальная история России: 1917–1941. Ростов-на-Дону, 1994.
- Цвайнерт Й.* Роль государства в “догоняющей модернизации”: реформы после 1789 года в Германии и “великие реформы” в России в сравнительной перспективе // Административные реформы в контексте властных отношений: опыт постсоциалистических трансформаций в сравнительной перспективе. М., 2008.
- Arendt H.* On Violence. New York, 1969.
- Arthur W.B.* Self-reinforcing Mechanisms in Economics // The Economy as an Evolving Complex System. Boulder, 1988.
- Babbie E., Benaquisto L.* Fundamentals of Social Research. Scarborough, 2002.
- Beetham D.* The Legitimation of Power. Atlantic Highlands, 1991.
- Boltanski L., Thévenot L.* De la justification: les économies de la grandeur. Paris, 1991.
- Denzau A., North D.C.* Shared Mental Models: Ideologies and Institutions // Kyklos. 1994. Vol. 47. № 1.

Fisun O. Developing Democracy or Competitive Neopatrimonialism? The Political Regime of Ukraine in Comparative Perspective. Paper Presented at the Workshop “Institution Building and Policy Making in Ukraine”. Toronto, 2003.

Foucault M. Surveiller et punir: Naissance de la prison. Paris, 1975.

Gershenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective // The Sociology of Economic Life. Boulder, 1992.

Gregory P.R. Restructuring the Soviet Economic Bureaucracy. Cambridge, 1990.

Hedlund S. Russian Path Dependence. London, 2005.

Hellie R. The Structure of Russian Imperial History // History and Theory. 2005. Vol. 44. December.

Inside the Apparatus: Perspectives on the Soviet Union from Former Functionaries. Lexington, 1990.

Kharkhordin O. What is the State? The Russian Concept of *Gosudarstvo* in the European Context // History and Theory. 2001. Vol. 40. May.

Lotman Y. Universe of the Mind: a Semiotic Theory of Culture. Bloomington, 1990.

Lukes S. Power: A Radical View. Houndmills, 2005.

Malia M. Russia under Western Eyes: from the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cambridge, 1999.

North D. C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge, 1990.

Oleinik A. The More Things Change, the More They Stay the Same: Institutional Transfers Seen Through the Lens of Reforms in Russia // Journal of Economic Issues. 2006. Vol. 40. № 4.

Pipes R. Karamzin's Memoir on Ancient and Modern Russia: a Translation and Analysis. Ann Arbor, 2005.

Pipes R. Russia under the Old Regime. London, 1974.

Raeff M. Understanding Imperial Russia: State and Society in the Old Regime. New York, 1984.

Ryavec K.W. Russian Bureaucracy: Power and Pathology. Lanham, 2003.

Sapir J. L'économie mobilisée. Paris, 1990.

Skinner Q. Visions of Politics. Vol. 1, 2. Cambridge, 2002.

Smith J.M. Evolution and the Theory of Games. Cambridge, 2002.

Tilly C. Contentious Repertoires in Great Britain, 1758–1834 // Repertoires and Cycles of Collective Action. Durham, 1995.

Tilly C. War Making and State Making as Organized Crime // Bringing the State Back. Cambridge, 1985.

Touraine A. La parole et le sang: politique et société en Amérique Latine. Paris, 1988.

Traugott M. Recurrent Patterns of Collective Action // Repertoires and Cycles of Collective Action. Durham, 1995.

Veblen T. Imperial Germany and Industrial Revolution. New York, 1939.

Weber M. Economy and Society: an Outline of Interpretative Sociology. New York, 1968.

Yefimov V. Economie institutionnelle des transformations agraires en Russie. Paris, 2003.